

ОТ ЛОГИЧЕСКОГО СУЖДЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ К ПЕРФОРМАТИВУ ДЖ. ОСТИНА: ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ*

А. В. Вдовиченко

Институт языкознания РАН

Поступила в редакцию 25 ноября 2009 г.

Аннотация: в статье рассматриваются логическое суждение как главный объект грамматики Аристотеля и перформатив Дж. Остина как первый теоретический объект в русле коммуникативной парадигмы. Аристотель ассоциировал слово и мысль, признал внесубъектность истинности/ложности мысли и выдвинул суждение в качестве характерного образца, исчерпывающего своими свойствами все феномены языка. При этом из сферы компетенции грамматики им были изъяты такие коммуникативные действия, в которых субъект проявлял себя с наибольшей очевидностью (восклицания, вопросы). В свою очередь Дж. Остин, выделив перформатив и наблюдая его особенности, был вынужден возвращать личное коммуникативное действие в науку о языке. Он исполнил эту задачу лишь отчасти, признав, наряду с перформативами, возможность существования констативов (т.е. логических суждений).

Ключевые слова: Аристотель, Остин, суждение, перформатив, констатив, коммуникативное действие, мысль.

Abstract: the article discusses the logical statement as the main object of Aristotle's grammar and J. Austin's performative as the first theoretical object of the communicative linguistic field. Aristotle connected word and thought, recognized objectiveness of the true/false value of thought, declared the statement as a characteristic sample covering the properties of all language phenomena. However, communicative actions in which the speaker displayed his/her identity (exclamations, questions) were taken away from the sphere of grammar. In turn, J. Austin, who allocated performatives and described its features, had to return personal communicative action to the sphere of linguistics. He completed the task only partially, because he recognized, along with performatives, the possibility of existence of constative (i.e. logic statements).

Key words: Aristotle, Austin, statement, performative, constative, communicative action, thought.

В настоящий момент отправным пунктом размышлений о лингвистическом факте можно, по-видимому, считать его коммуникативную природу: естественной формой существования вербального материала является актуальное высказывание, т.е. *словесное действие говорящего в мыслимой коммуникативной ситуации*. Тем не менее предметный подход к явлениям, свойственный античному научно-философскому методу, некогда послужил созданию *объектно-логической схемы* «знак–значение». Из этой схемы говорящий с его действием был исключен как избыточная переменная ввиду спонтанного признания, что *все* (т.е. любой говорящий) знают *все* слова языка и что все говорящие высказывают мысли, т.е. *произносят истинные (ложные) суждения*. Поскольку суждения можно рассматривать как соответствующие

или не соответствующие фактам (именно в этом состоит главный интерес, проявленный к вербальному материалу античной философской мысли), то, соответственно, в них *действие, производимое говорящим, можно теоретически игнорировать*.

Соединение лингвистической и логической проблематики (т.е. превращение науки о языке в логическую грамматику и фиксирование парадигмы «знак – значение») в полном объеме предпринял Аристотель. Первый и главный шаг, сделанный им, – *ассоциирование слова с мыслью*, и второй – выдвигание на передний план *суждения* в качестве характерного образца, исчерпывающего своими свойствами все феномены естественного «языка».

Тенденция объединять слово и мысль была свойственна и Платону: «Мысль (*διάνοια*) и речь (*λόγος*) – одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением» (*Софист* 263e; см. также: *Тезет* 190a, 206d) [1], однако у Аристотеля эта идея принимает более строгий вид,

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта НОЦ «Оптимизация семиотических процессов в многоязычных контекстах», гранта РГНФ № 08-04-00329а «Написание монографии «Лингвистические основания библейских исследований».

© Вдовиченко А. В., 2010

поскольку сам процесс мышления приобретает большую теоретическую разработанность, становится отдельной наукой – собственно логикой или, по терминологии Стагирита, «аналитикой». Отношение между мышлением и языком представляется тождеством (или почти тождеством). По-видимому, идея о единстве мышления и языка (или о теснейшей их связи) возникает столь же естественно, как и признание того, что речь состоит из слов, каждое из которых само по себе что-то означает. Так, если признать, что мысль выражается словом, то естественно признавать и то, что слово и есть та самая мысль, только озвученная: «Вопреки мнению некоторых нет различия между доказательствами, относящимися к слову, и доказательствами, относящимися к мысли. Нелепо полагать, что доказательства, относящиеся к слову, и доказательства, относящиеся к мысли, не одни и те же, а разные» (*О софистических опровержениях*, IV, 10) [2].

Признание прямой связи между мыслью и произносимыми словами создает следующую теоретическую ситуацию: логические структуры («мысль») состоят из слов, адекватно представлены словами, а слова, в свою очередь, с необходимостью имеют под собой логические структуры. У суждения есть подлежащее, которое обладает само по себе некоей сущностью, или «чтойностью»: «Сократ правомерно искал существо [вещи], так как он стремился делать логические умозаключения, а началом для умозаключений является существо вещи» (*Метафизика* XIII, 4; 1078b) [2].

Подлежащее, таким образом, обладая сущностью, по мнению Аристотеля, *содержит в себе правильное суждение*. В результате весь «язык» разворачивается из слова (т.е. из подлежащего, обладающего сущностью), поскольку слово, согласно Аристотелю, тождественно сущности называемой вещи, поскольку мысль, составленная из слов, и речь, составленная из тех же слов, тождественны.

Дальнейшее исследование феноменов языка становится возможным только как исследование *суждений*, имеющих субъектно-предикатное строение, поскольку «мысль» по преимуществу, и уж во всяком случае нигде, как в нем, выражается в суждении. В таком подходе к лингвистическому материалу другие языковые явления – вопросы, императивы, модальные высказывания и др. – уже невозможно анализировать, используя аппарат, разработанный для суждений. Так, Аристотель, затрагивая вопрос о различных типах предложений, в качестве предмета своего логического исследования выделяет утверждение ($\kappa\alpha\tau\alpha\phi\alpha\sigma\iota\check{\nu}$) и отрицание ($\alpha\phi\lambda\omicron\phi\alpha\sigma\iota\check{\nu}$), в которых заключается истинность или ложность чего-либо. В связи с этим еще ранее им было замечено, что «не всякое предложение есть суждение, а лишь то, в ко-

тором заключается истинность или ложность чего-либо; так, например, пожелание есть предложение, но не истинное или ложное» (*Об истолковании*, 13); далее следует характерное замечание: «Остальные виды предложений здесь выпущены, ибо исследование их более приличествует риторике или поэтике, только суждение относится к настоящему рассмотрению» [2].

Как видно, сам Аристотель не настаивал на том, что *только* суждения присутствуют в естественном языке. Однако авторитет созданной им логики («аналитики») наложил неизгладимую печать на любое строго научное исследование и, прежде всего, — исследование языкового материала, который сам представлял логику и который представлялся через логику. Разработанный Аристотелем научный аппарат, описывающий «мысль», был ориентирован на суждение, «работал» только в отношении суждения. Именно поэтому серьезные лингвистические занятия после трудов Стагирита становятся возможными только в отношении суждения, которому на уровне «языка» соответствует повествовательное предложение и все, что к нему сводится. Последующее научное языкознание (стоики и др.) возникает, таким образом, из невозможности теоретизировать языковой материал иным, необъектным, аппаратом. Другими словами, невозможность иного пути после Аристотеля была обусловлена фактическим изгнанием говорящего, который с очевидностью произносил не только суждения, но и задавал вопросы, приказывал и т.д., однако, будучи субъектом лингвистического процесса, не вписывался в созданную объектную схему его описания. При этом грамматика как наука о словах получила санкцию логики и причастность ее авторитету. На практике это означало, что в каждом элементе речи – взятом как отдельно, так и в рамках целостности – подразумевались присущие ему смыслы и связи (ведомые всем и по мере того объективные и логические), которые исследователь должен установить и описать.

Отделение грамматики от риторики, само подразумеваемое различие в проблематике этих наук, по-видимому, следует из античной культурной практики. Как известно, основных умений в области слова, свойственных образованному жителю полиса, было два: умение *понимать* написанные тексты (древних авторов) и умение произносить речи или *заставлять понимать* собственные речи, необходимые в различных сферах социальной жизни. Другими словами, умение понимать древних и способность убеждать слушателей-современников воспринимались как две разные задачи, для решения которых необходимы разные искусства. Так, признавалось совершенно естественным, что учить грамматике родного языка, на котором происходило повседневное общение, не

было никакой надобности: в диалоге «Протагор» об учителе грамматики родного языка говорится как о смехотворном явлении. Но обучить искусству производить воздействие словами – понятными и «неграмматичными» – было уже необходимо.

Такая постановка вопроса, или, точнее, данное требование жизни, означало, что грамматика, родившись как искусство чтения и истолкования древних авторов, изначально не распространила своих полномочий на факты современного языка: общепонятные речи, произносимые перед слушателями-современниками, в грамматике не нуждались, они воспринимались вне всякой грамматики, нуждались не в истолковании, а в убедительности, действенности, что и составляло предмет риторики – уже другой науки. Так *факты языка древних авторов и факты родного общепонятного языка стали различными фактами*: язык древних авторов оказался последовательностью слов, не обладающих действенностью, но представляющих логические категории мысли; а современная устная речь оказалась неграмматичной, не теоретизируемой, поскольку в ней не усматривалось проблемы смыслообразования. Она была понятна по определению как родная речь. В результате теория языка (собственно «грамматика») оставляет за собой в качестве предмета написанные тексты, якобы лишённые риторичности, т.е. актуальности, действенности и коммуникативности, но зато исполненные каноничности, предметной определенности и нуждающиеся в истолковании; риторика же, в свою очередь, включает всю стихию коммуникативного взаимодействия, тем самым скрывая от грамматики, т.е. от теории языка, подлинные основания речемыслительного процесса – актуальность, действенность и коммуникативность.

Подозрения в обоснованности логического подхода к фактам языка наиболее отчетливо возникают многим позднее, только в двадцатом веке, в трудах Дж. Остина (по всей видимости, не без влияния философии языка Л. Витгенштейна). Рассуждая как логик, Остин обратил внимание на значительную часть вербального материала, в котором не присутствует суждений, составлявших единственное твердое основание логики как специальной науки: «Среди философов слишком долго было укоренено убеждение, что «утверждение» может только «описывать» положение вещей или «утверждать нечто о каком-либо факте», который при этом должен быть либо истинным, либо ложным» [3, с. 16].

Так называемые перформативы, на которые указал Остин, «ничего не «описывают» и ни о чем не «сообщают», ничего не констатируют, не являются «истинными или ложными»; употребление этих предложений является частью поступков или действий, которые в обычных случаях не описываются как

говорение о чем-либо... Употреблять [такие] предложения (при определенных обстоятельствах, разумеется) не значит *описывать* мое действие в акте употребления того, что я говорю, или утверждать, что я что-то делаю: скорее, это значит производить само действие... Это не нуждается в доказательстве подобно тому, как выражение «Да пошел ты!» не является ни истинным, ни ложным» [3, с. 16–19].

Замеченный факт существования перформативных высказываний небезосновательно поднимается Остином на значительную высоту [3, с. 16]. Однако, после констатации перформативов все последующие рассуждения Остина, содержащиеся в цикле джемсовских лекций, имеют характер уступок традиционной теории или приспособления новооткрытых фактов к традиционной логической схеме, описывающей вербальный процесс.

Огромная часть рассуждений Остина так или иначе сводится к вопросу о том, каковы отношения между перформативами и констативами (утверждениями). Без сомнения, это – главная тема, которая обсуждается в лекциях: являются ли перформативными *все* употребления естественного языка или же *часть* высказываний, а именно *утверждения*, по ряду свойств не вписываются в определение «совершительных» высказываний. В результате Остин приходит к выводу о необходимости сохранить различие констативов и перформативов: «Как же выглядит разграничение «констативов» – «перформативов» в свете позднейшей теории? В целом для всех употреблений, которые мы рассмотрели... мы обнаружили:

- (1) измерение успешности/неуспешности,
 - (1а) иллюкативную силу,
 - (2) измерение истинности/ложности,
 - (2а) локутивное значение (смысл и референцию)»

[3, с. 123].

Нужно сказать, что, несмотря на всю определенность приведенного вывода, постоянные сомнения, высказываемые в лекциях, заставляют позднейших исследователей видеть нерешительность остиновской позиции: составляют ли перформативы *часть* высказываний естественного языка или следует наделять свойствами перформативов *любой* актуальный лингвистический материал?

Таким образом, вопрос, столь занимавший Остина, остался не решенным окончательно. Однако почему же он был столь важным для него? По-видимому, Остин коснулся существа конфликта между логико-грамматической теоретической схемой и наблюдаемой реальностью речевого и мыслительного процессов. С одной стороны, теоретические основания его взглядов образует спроецированная на лингвистический материал логика, т.е. наука о суждениях. Последние вольно или невольно признаются речемыслительными единствами в рамках классической

схемы – по крайней мере, ключевую позицию логической теории, а именно, что *мысль выражается словом*, и что *в любом слове содержится мысль*, до Остина всерьез не отрицал никто. Поскольку мысль и есть суждение (утверждение/отрицание), то в доостиновском словесном материале имеющимся логическим инструментарием ничего, кроме суждений, различить было невозможно (по существу, именно об этом Остин говорит во введении, обозначая место перформативов в логической теории).

С другой стороны, наблюдаемая реальность заставляет его констатировать, что существуют вполне бесспорные случаи употребления языка, в которых найти суждения невозможно, и в которых содержится только действие (Остин говорит, что данное положение настолько очевидно, что ему даже не нужно это доказывать, хотя, правда, зачастую такие высказывания грамматически обряжаются в «маскарадные костюмы суждений»). Получается, что *существуют языковые употребления, в которых не содержится мысли – главного объекта логики*. Соответственно, для каких-то сегментов «языка» неверна формула: «Языком выражаются мысли». Не вдаваясь в прочие последствия такой констатации, можно сразу ощутить инородность перформатива в корпусе логики и логической грамматики. Возможно ли на этом фоне признать, что *все высказывания естественного языка являются действиями, и, соответственно, все они не выражают мысли?*

Другими словами, идея перформативов, как замечает Остин, выводит из сферы влияния логики значительное число высказываний естественного языка. При этом логическое учение о суждениях не справляется с действием как теоретическим объектом: так, для действия невозможно определить подлежащее и сказуемое (или субъект и предикат, или члены пропозиции). Стоит только представить, что *все высказывания могут стать действиями*, как почувствуется подлинная причина внутренних сомнений Остина в разрешении поставленного вопроса – тождественны или различны перформативы и констативы: *в случае тождества весь материал естественного языка выводится из сферы влияния логики и логической грамматики*.

Таким образом, конфликт схемы и реальности имел вполне определенные очертания: он провоцировал исследователя либо совершить радикальные теоретические шаги, либо – что и выбирает Остин – оставаться в растерянности.

Его исследовательскую задачу, по-видимому, следует рассматривать как параллельную той, которую некогда решал Аристотель, но в противоположном направлении теоретического вектора. Если Аристотель, закладывая основания логико-грамматической теории, отмечал, что в вербальном материале

встречаются не-суждения, которые необходимо игнорировать при создании грамматической теории, то ко времени Остина европейская грамматика, оставаясь по-прежнему в своих основаниях логической, стремилась, тем не менее, распространить свою компетенцию на *все* вербальные факты. Аристотелевская осторожность в применении логического инструментария была забыта, но кардинально новых инструментов изобретено не было: по-прежнему действовали принципы: «знак–значение», отсутствие говорящего, «язык выражает мысли», «слова организованы в систему», «слово имеет значение», «высказывание есть сумма значений слов» и пр. Другими словами, логическая грамматика суждений, оставшись прежней по методу, включила в свой состав то, что Аристотель из нее исключил (это привело к теоретической двусмысленности и неадекватности, описанной Остином в уже цитированном введении к его лекциям).

Задачей Остина, параллельной, но противоположной по вектору аристотелевской, было: вернуть материал не-суждений, исключенный Аристотелем, в теоретическое поле науки, внутренне «оборудованной» только для работы с суждениями, но претендующей на то, чтобы охватить все факты языка. Ясно при этом, что для успеха необходимо было изменить логический инструментарий теоретической грамматики или модель описания вербального материала (в частности, признать, что мысль и вербальное действие далеки друг от друга). Этого Остин не успел, не пожелал или не смог предпринять. Его двусмысленность и, в конце концов, теоретическая неудача вызваны несоответствием оснований («несомненных подлежащих теоретической схемы») замеченным им свойствам самого материала. Другими словами, предъявленные перформативы становились «вещественным доказательством» неправоты логической грамматики, но ни логику, ни грамматику Остин не имел желания компрометировать.

Чтобы разрешить конфликт между реальностью и описательной схемой, в который Остин оказался вовлеченным, необходимо, по-видимому, признать, что *все высказывания представляют собой действия говорящих*. Возникающую при этом «угрозу» – «во всех высказываниях не присутствует суждений, а значит, и мысли» – следует устранить ввиду того, что *мысль и вербальный материал («суждение») не идентичны друг другу даже в случаях утверждений или отрицаний*: мысль, не имея вербальной формы, «локализуется» на стадии планирования словесных и несловесных действий; соответственно, признание перформативности любого вербального материала не отрицает его связи с мыслью и сознанием. Другими словами, мысль говорящего *отражается косвенно* в том, что он делает (в том числе когда он говорит), но

не идентична тому, что он делает и говорит. Такая констатация отнюдь не означает примирения с классической логикой, которая ввиду принципиальных отличий вербального суждения от невербальной мысли теряет лингвистическое основание и требует новой, вне-логической, теории.

Институт языкознания РАН (Москва)

*Вдовиченко А. В., кандидат филологических наук,
доцент кафедры теории и истории языка ПСТГУ
E-mail: anlvdo@mail.ru*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Платон*. Собрание сочинений : в 4 т. / Платон. – М., 1990. – Т. 1.
2. *Аристотель*. Сочинения : в 4 т. / Аристотель ; под ред. В. Ф. Асмус. – М., 1976. – Т. 1.
3. *Остин Дж.* Избранное / Дж. Остин ; пер. с англ. В. П. Руднева. – М., 1999.

Institute of Linguistics (Moscow)

*Vdovichenko A. V., Candidate of Philology, Associate
Professor Department of Theory and History of Language,
Orthodox St. Tikhon University for Humanities
E-mail: anlvdo@mail.ru*